

Костер весело затрепетал языками пламени, затрещали сухие осиновые сучья, выбрасывая искры, тут же улетавшие с дымом в ночное небо. Отец снял свою старенькую телогрейку и бросил ее на песок около костра:

— Ложись, грейся, сынок, я схожу к реке, зачерпну воды, а потом и почаевничаем.

Он взял котелок и исчез в темноте прибрежных кустов. Я лег на спину, надо мной безмолвная вечность с неисчислимым множеством святящихся искр. Словно вылетали они из костра и замирали там, в вышине, в чернеющей бесконечности. В двенадцать лет рассуждения о вечном и бесконечном были неподвластны моему воображению. Все мне казалось простым и ясным. И таинственная тишина в лесу, которая изредка нарушалась недовольным криком какой-то ночной птицы. И безмолвие реки Ветлуги за кустами тальника, которую я чувствовал по прохладе, поднимающейся от берега. Изредка там, за кустами, слышались громкие всплески — это, по всей видимости, сердитые щуки охотились у поверхности воды за несмышленими и беспечными мальками. И я снова и снова останавливал свой взгляд на темном бархате небосвода. Глубина и ширь звездного неба привораживали меня таинственностью и непонятным величием. Лежа на песке около костра среди тревожных голосов природы, я чувствовал себя причастным к окружающему меня миру. К ночному небу с его бесконечностью, к земным и пугающим звукам в лесу и на реке, к теплу, исходящему от безмолвного костра. И вместе с тем во мне была детская убежденность моего личного существования среди звезд, леса, на берегу реки. Потому что я был не один, со мной во всем этом тревожно-ночном мире где-то рядом находился отец, присутствие которого вселяло в меня уверенность в самом главном — в моем пребывании на земле.

Я услышал хруст сухой ветки под ногой отца, шедшего от берега реки, шуршание листьев в кустарнике, а вот наконец и он сам вышел из темноты к костру. В одной руке отец держал старенький, еще дедов котелок с закопченными до черноты боками, заполненный почти до краев водой, в другой руке я увидел охапку листьев смородины и какие-то кривые, нетолстые коренья.

— Вот, накопал корней шиповника, сначала их заварим, а уж потом листочков смородины для духмяности подбросим.

Отец вставил заранее приготовленную им деревянную палку в дужку котелка и повесил его над костром, положив палку на две вбитые в землю рогульки. Подбросил несколько толстых сухих березовых

сучьев в огонь. От жара они сразу же загорелись, языки пламени с жадностью обхватили котелок со всех сторон. Даже мне, в стороне от костра, стало теплее, я взял небольшую сухую сосновую ветку и не успел поднести ее к бьющемуся пламени, как хвоя вспыхнула, разбрасывая искры, которые тут же подхватило теплым потоком и понесло вверх, в ночную темноту.

Вскоре вода забулькала, пошел пар, отец убрал котелок с огня, поставил на песок и бросил в кипяток коренья шиповника, потом подвинул его поближе к пламени, следя за кипением воды. Минут через десять он совсем отодвинул котелок от костра и бросил в него листья смородины. Пар наполнился резковатым, терпким ароматом с лесными таинствами и загадками.

— Ну, вот и чай наш готов! — сказал весело отец, глаза его радостно светились.

Он достал из берестяного пестера большую краюху хлеба, завернутую в чистую тряпицу, и две алюминиевые кружки. Отец не стал резать хлеб, а, разломив горбушку пополам, одну половину подал мне. Осторожно зачерпнул своей кружкой горячий чай из котелка и налил его, дымящийся ароматным паром, в мою кружку.

— Давай, сынок, перекусим, да отдохнем перед рыбалкой, а то летняя ночь быстро пролетит. И разбуду я тебя с первыми лучами солнышка.

Он осторожно отхлебнул из кружки, улыбнулся мне:

— Красота!

Потом остановил свой взгляд на куске хлеба, который держал в правой руке, понюхал его:

— Запах, сынок, какой запах от хлеба! — радостно улыбаясь, сказал он. — Только понюхай, какой удивительный дух! Такого ароматного у нас в городе не найдешь. Бабушкин хлеб из русской печи, ну с чем его сравнишь? Он и сейчас как свежее испеченный пахнет.

Я поднес ломоть хлеба к лицу, вдохнул его запах и сразу же почувствовал себя в утренней тишине бабушкиного дома, когда она негромко стучит заслонкой, ухватом, доставая из печи через устье только что испеченные караваи хлеба. Круглые, невысокие, с румяной корочкой, этой самой ароматной и пахучей его частью. Вынутый хлеб бабушка складывала на белую холстину, постеленную на столе. По избе расходился аппетитный аромат смеси чуть-чуть кисловатого запаха опары с приятным духом мира и доброты свежее испеченного хлеба. Ковриги, разложенные бабушкой в ряды, горбились своими коричневатыми корочками, а мне казалось, что это разложили свои боевые щиты уставшие после битвы древние богатыри, которые отдыхают, прогнав супостата и установив мир на нашей земле.

Я пил заваренный отцом чай, темно-бордовый от корней и резко пахнущий от смородины, хрустел жестковатой коркой хлеба, и тепло

разливалось приятной истомой по телу. Отец посмотрел на меня, улыбнулся, спросил:

— Наслаждаешься, сынок? Запомни на всю жизнь неповторимый вкус простого деревенского хлеба. Такой ели твои предки. Может, благодаря ему наш род продолжается. Не забывай, что все мы родом из одной деревни, название которой — Русь. Запах родного хлеба особенно вспоминал я в годы войны, когда служил в далеком Забайкалье. Как мне не хватало тогда хоть маленькой корочки его, маминой выпечки. Да и не только мне, все солдаты нашего полка испытали на себе и узнали воочию, что такое голод. И хотя мы не участвовали в сражениях с фашистами, но без единого выстрела похоронили в полку около девятисот человек, умерших от голода.

Отец замолчал, подхватил из костра горевший сучок березы и прикурил от него папиросу. Раз-другой глубоко затянулся, прищурился, видимо вспоминая что-то далекое.

— Случилось это суровой зимой в конце сорок третьего года, — вдруг негромко, и как бы задумываясь, заговорил отец, поставив кружку на песок около костра. — К тому времени я уже два года служил командиром орудия. Можно сказать, опытный боец. На западе по всем фронтам гремели бои, немцев уверенно гнали с нашей земли, а мы на границе с Маньчжурией продолжали нескончаемые учебные стрельбы. Поднимали нас ночью по тревоге почти каждую неделю.

Читинская область — суровый край, особенно зимой. Мороз до тридцати — сорока градусов доходил. «Воевали» мы в зимних лагерях за многие километры от расположения полка. Порой жили в снежных ячейках и простых землянках по несколько дней. Это так называемые зимние квартиры. Мороз трещит, а мы одеты в старенькие шинели и буденовки времен гражданской войны, байковые двупалые перчатки, обуты в кирзовые сапоги или ботинки с обмотками. По глубокому снегу, по пересеченной местности вручную таскали на занятиях орудия и боекомплекты зарядов для пушек, станковые и ручные пулеметы, винтовки, рыли мерзлую землю, оборудуя окопы, огневые позиции и укрепления. А уж чем кормили, вспомнить страшно — стылой кашей и замороженным хлебом, нарубленным топорами. Почти в каждой роте десятки красноармейцев или простужены, или обморожены.

Однажды ночью возвращался наш полк с очередных боевых учений. Вся артиллерия в те годы была у нас на конной тяге. Да я и сам службу-то начинал ездовым. Сразу определили, коли деревенский, значит к лошадям привычный, с делом этим знаком. Так вот, закрепили мы орудие за передок, а стрелковые роты без суеты заняли места в открытых кузовах машин и маршем двинулись в казармы. Я упросил командира батареи посадить свой расчет орудия на машину со стрелковым взводом, а сам с ездовым Пастуховым, устроившись на передке, поехал в конце колонны. Мороз набирал силу. Дорога неблизкая, до

военного городка километров двадцать, а по морозу и все тридцать покажется. Уже проехали больше половины пути, как обогнала нас полуторка, крытая брезентом.

— Хлеб повезли,— определил ездовой.

Действительно, так и было. В пекарне хлеб грузили прямо в кузов, прикрывали брезентом и развозили по солдатским городкам.

Лошади из последних сил тащили тяжелое, промерзшее орудие. И вот, несмотря на мороз, сморило меня, я и задремал. Хотя, поставленный в арьергард колонны, я обязан был внимательно следить за дорогой. Возвращающиеся с учений красноармейцы, уставшие и голодные, часто выпадали в полусне из машин. Оставались замерзать под открытым сибирским небом. Поручив ездовому глядеть во все глаза, тому все равно править лошадьми, я приказал разбудить меня, если он вдруг что-либо обнаружит. Вскоре сквозь сон слышу голос, вроде кто-то зовет меня, а сообразить не могу — кто кричит? Потом понял — это же ездовой Пастухов.

— Товарищ сержант, товарищ сержант! — он уже начал толкать меня в бок.— Смотрите, хлеб на дороге, целая буханка.

Открыв глаза, я, действительно, увидел ее, большую, в сугробе около тракта. А надо тебе сказать, что хлеб для нас пекли весом по два килограмма. Мгновенно прошел сон, и я, спрыгнув с передка на обочину, поднял буханку, которая оказалась замороженной до каменной крепости. Но это был хлеб! Потеряли, значит, из кузова вывалился на повороте. Что делать?

«Везти в казарму — отберут, да еще в воровстве обвинят, оставить на расчет — тоже кто-нибудь да сболтнет,— пронеслось в голове.— А тут мы вдвоем. Пастухов человек надежный». И вслух сказал:

— Слышь, Пастухов, а ты что думаешь по этому поводу?

— А тут не думать надо, товарищ сержант, а жрать. Все одно — отберут хлеб-то. Да нас еще вредителями, да врагами народа выставят,— ответил скороговоркой, сглатывая голодную слюну, ездовой, как будто прочитав мои мысли.

Саперной лопатой разрубил я буханку на четыре части, половину отдал Пастухову, вторую сунул себе под шинель. Хоть немного надо было хлеб отогреть. Но не было сил вдыхать его запах, даже мерзлого, и я начал рвать его зубами, пытаясь разогреть кусочки во рту. Ныли от мороза и от начинавшейся цинги зубы. Солдатский хлеб, выпекавшийся наполовину из отрубей, крошился, скрипел на зубах.

— Товарищ сержант, а вы его во рту рассасывайте, как конфетку, тогда на дольше хватит и не так холодно в брюхе будет,— подсказал Пастухов, детство которого прошло в голодных беспризорниках, и уж он-то хорошо знал цену каждому куску хлеба.

Всю дорогу до расположения полка мы откусывали, рассасывали и проглатывали этот подарок судьбы в декабре 1943 года. И не заметили,

как съели по килограмму его, мерзлого, практически не очень съедобного для человека.

Вкус того забайкальского мякинного хлеба, наполовину смешанного с отрубями, запомнился мне на всю жизнь. Но не в этом дело, сын, а главное, что до сих пор я не могу забыть солдат своего расчета, и осталось у меня перед теми ребятами чувство вины. Вины в том, что не смог я разделить с ними в голодные дни найденный на дороге хлеб. Проще говоря, смалодушничал я, сын. Положил тогда на одну чашу весов суровость возможного наказания за сокрытие найденной буханки, а на другую чувство солдатской взаимовыручки и дружбы. И первая перевесила. Да что тут особо говорить — испугался я, что могут меня в военное время сурово наказать за такое дело.

Примерно через полгода расстались мы с Пастуховым. Меня отправили учиться в танковое училище. А он еще через полгода, отслужив после меня командиром расчета, попал на фронт, как раз к окончанию войны. Что стало с ним дальше, я не знаю. Но до сих пор не дает мне покоя совесть, думаю — правильно ли я поступил?

Отец замолк. Подбросил в костер еще несколько сучьев, прилег ко мне на телогрейку, обнял и сказал:

— Спи, сынок, немного времени до утра осталось. На утренней зорьке разбужу, клев будет отменный.

Рядом с отцом мне стало тепло, я еще раз посмотрел во всепрощающую вечность ночного бездонного неба. Звезды переливались светом, как будто моргали, но смотрели понимающе и с добротой. Засыпая, почувствовал, как отец поднялся, сел рядом со мной и снова закурил папиросу. А я спокойно и уверенно проваливался в сон с мыслью, что рядом самый родной человек, детским умом не понимая происходящего сейчас в душе отца, которую через рассказ-покаяние он очищал передо мною, своим сыном, веря, что я пойму и никогда не предаю, сохранив навсегда только светлые и честные воспоминания о нем.